

Александр Иванович Куприн

Белая акация



Александр Куприн

Белая акация

«Public Domain»

1911

Куприн А. И.

Белая акация / А. И. Куприн — «Public Domain», 1911

Является ранней редакцией рассказа «Большой Фонтан». «Дорогой старый дружище Вася! А я вас все ждал и ждал. А вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио (вы, Зиночка и я)?..»

Александр Иванович Куприн

Белая акация

Дорогой старый дружище Вася!

А я вас все ждал и ждал. А вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио (вы, Зиночка и я)? —

Успокойтесь же. Это тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это — «Халдейская женщина», из семейства «собаковых», *specias* — «халда *vulgaris*».

Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проникательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили — не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и её картавое сюсюканье избалованного пятилетнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам всем рты, наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни — одностороннюю ссору, потому что — вы помните? — кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению.

Но еще удивительнее причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо, волшебство, очарование — называйте, как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота не чем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией.

Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойной реки, между камышами... со всеми ее чудесами и поэзией? Здесь, на юге, нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый, крупный дождь, и, глядишь, наутро все блестит и трепещет свежей зеленью, и сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное...

И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой — капустой, жасмин — навозом.

Но белая акация — дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация.

Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город, благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими, теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых, в самом деле, чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами, или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые, висячие гроздья повсюду: в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках, они вплетены в гривы извоз-

чичьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам.

Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все: люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы, влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, бурженники и лапетутники (две загадочные профессии, известные только Одессе), гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городские, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации.

На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, – так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах – корь. Но свежему, приезжому человеку, на коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, – так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах – корь. Но свежему, приезжому человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель.

Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских Фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными, тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял оплошной треск семечек и любовный, бессмысленный говор, подобный болботанию тетеревов на токовище. И акация, акация, акация... Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме.

Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги: экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко и противно... и чувствовалось, что не улетишь.

О том, как я признался, как я сделал предложение мамаше и как нас повенчали, – я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка.

Очнулся я только осенью, когда настали холода...

А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон. Белая акация, – черт бы ее побрал! – облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья, и качает головой, и плачет слезами обиженной ростовщицы... А я предаюсь грустным размышлениям.

Жена моя говорит: «тудою», «судою» и «кудою». Она говорит: «он умер на чахотку», «она выше от меня ростом», «с тебя люди смеются», «зачини фортку» (запри калитку), «я за тобой соскучилась».

Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна, и она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский.

Она знает все, решительно все на свете: литературу, музыку, светские обычаи, науку, и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертон. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке три или четыре часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама – неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди: мне все кажется, что ее принимают за кокетку. На улице она, как дома, ибо давно известно, что улица – родная стихия одессита.

Она скупа, жадна и обжора, она жестока и глупа, как гусеница, она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне, и я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки – одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с «Пересыпи» и «Молдаванки», и все они *одесситы*, и все они все знают и все умеют, и все они презирают меня, как верблюда, как выючную клячу.

Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневно истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом. И она же уверяет меня, что я – чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди?

Милый мой! Была бы в моих руках огромная, неограниченная власть – власть, скажем, хоть полицейская, – я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывезти ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного!

Прощайте же, дорогой мой. Завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно.

Ваш – прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном приводе, дойная корова – NN.